Кристин Айхель
ПОЕДИНОК
В ПЯТИ ПЕРЕМЕНАХ БЛЮД

Кристин Айхель

Поединок в пяти переменах блюд

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=419622
Кристин Айхель «Поединок в пяти переменах блюд. Обман», серия «Школа злословия. XXI»: АСТ, ЛЮКС; Москва; 2005
ISBN 5-17-023132-6, 5-9660-1505-8

Аннотация

Званый ужин длится и длится… а медленно пьянеющие гости – короли и королевы богемы – успевают полюбить и возненавидеть друг друга, сплести десятки интриг и продемонстрировать изощренную хитрость и злое остроумие…

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 24

Кристин Айхель
Поединок в пяти переменах блюд
Роман с рецептами

ПЛАН РАССАДКИ ГОСТЕЙ ЗА СТОЛОМ

Дрожащая тишина. Девственная белизна салфеток. Жирный блеск семги.

Теофил Круг украдкой растер пепел на ковре. Несколько растерянный, он стоял в столовой квартиры, которая как бы уже перестала быть его квартирой. Всякий раз, когда они приглашали гостей, хорошо знакомая обстановка странным образом становилась чужой, как бы опережая чужие взгляды, которые вскоре обратятся ко всему, что здесь есть. Теофил выбросил сигарету в открытое окно. Да что же это? С какой стати он должен вот так бросать на произвол судьбы свою собственную квартиру, такую голую, беззащитную. Сдавать во вражеские руки.

Вздохнув, он взял стакан с пивом.

Раньше, подумал он, были комнаты для приемов и личные покои, тщательно разделенные между собой. Званый ужин, ну да. Мы сумели перенять у буржуа стиль жизни, но не можем себе позволить их апартаменты.

Красное вино лениво дышало в стеклянных графинах. Запах рыбного соуса струился по квартире. На столе замер ягненок, забальзамированный в меду, травах, растительном масле. В холодильнике застывал лимонный мусс, лоснящийся и довольный; он впитал в себя целых шесть яичных желтков. На заднем дворе сгущался все тот же чад хлопающих кухонных звуков, детского нытья и прерывистого дыхания парочек, а бледно-красное солнце уже успело благополучно улизнуть в облака.

Нельзя сказать, чтобы они уж очень любили эти званые вечера. Они были дороги, утомительны, и всегда было неясно, чем все закончится.

Штефани Круг вынимала кости из семги. На кафельных плитках в стиле модерн оседал водяной пар. Пищевые отходы потихоньку гнили в пластиковом мешке, висящем на ручке двери. Теофил со стаканом в руке вошел в кухню и с рассеянным любопытством этнолога стал наблюдать за действиями, предшествующими трапезе.

– Это отвратительно, – сказал он. – Сначала ты неизвестно что этим делала, а теперь вытаскиваешь кости, ну правда…

– Это спе-ци-аль-ный пин-цет для ры-бы, – даже не взглянув на него, ответила Штефани, растягивая гласные, словно говорила с умственно отсталым ребенком.

– Мы могли бы и Хаусманна позвать, – заметил Теофил и взял ломтик помидора с кухонного стола. – Он был бы вполне кстати…

– Ради Бога, этого ужасного искусствоведа я не могу больше видеть. Нескончаемый поток чуши, боязнь собственного взгляда. – Штефани посмотрела на Теофила. – Эйдетики и деталисты, иконоборчество и идеограммы, я тебя умоляю. Сплошная безграмотность и все. Хаусманн готов отправить картины на костер без суда и следствия.

Теофил холодно улыбнулся:

– Господи, можешь не умничать, мы ведь уже женаты!

Глаза Штефани сузились. Она отодвинула блюдо с рыбой и сняла полиэтиленовые перчатки. Потом схватила нож и решительным движением срезала с кости кусок.

– Жалость палача – твердая рука, – произнесла она с той смесью скуки и упрямства, которая иногда проскальзывает в разговорах хорошо знающих друг друга супругов.

– Уже лучше, – откликнулся Теофил. – Брехт?[1]

– Нет, Эрнст Юнгер.[2]

Лук-шалот, мелко порубленный, тяжелое ореховое масло, которое лишь с большой неохотой смешивалось с темным уксусом. Рядом ждали утиные грудки, они отливали матовым блеском и, казалось, вспухали на глазах. Штефани с удовольствием проследила, как они скользнули в сковороду и скончались второй, красивой смертью.

Эти крохотные помидорчики хоть и дурацкие, но все же милые. Красный как помидор – это звучит так плоско. Я потеряла свою любимую губную помаду. Может быть, ее взяла Мария?

Это был вовсе не обычный стол. Скорее длинный, чем широкий. На нем – тяжелая льняная скатерть, приобретенная специально, не из бабушкиного наследства. Центр мира. Все надежды, все планы пока замерли, но при желании их уже можно было услышать – пока всего лишь бормотание, сплетение голосов, вибрирующее звуковое пространство, где выделялись первые сопранные арии и кантилены басов, а все вместе двигалось волнами, то форте, то пиано, растягивалось и сжималось, развивая внутренние непокорные ритмы, взвиваясь и внезапно опять опадая, и затухало, пока некий голос-избавитель не запускал вновь этот запутанный механизм.

Теофил в нерешительности остановился в прихожей и сделал несколько быстрых глотков пива. Слишком теплое, всегда слишком теплое. Но он все равно продолжил его пить. Он чувствовал, что это некий акт протеста против вина, которое сегодня вечером будет в его бокале. Нет, нет, он любил вино, но рефлекторно все еще восставал против этого ритуала. Чинная трапеза, гм, да.

Ему было около пятидесяти. Но сменить студенческое восприятие жизни на стиль этих unhappy few,[3] как он любил повторять, ему пока так и не удалось. Следующему поколению недоставало деликатности. Ну конечно, ему хорошо знакомы эти легкомысленные типы, которые сейчас везде и всюду делают карьеру. Веселая беззаботность, с которой эти последыши поминают Адорно[4] и ездят на Мальдивы, развязность, с которой они слушают Боба Дилана в «саабе».

Теофил в отличие от них рос в то время, когда роскошь еще была подарком, да и ею ему приходилось наслаждаться с ироническим комментарием вроде: «Все-таки устрицы – скорее символ буржуазной жизни, чем продукт питания, так давайте же освободим их от декадентского флёра, ешьте, ешьте, это – дары моря, они безгрешны» и прочее…

---

[1] Брехт, Бертольт (1898–1956) – немецкий писатель и режиссер. – *Здесь и далее примеч. пер.*

[2] Юнгер, Эрнст (1895–1998) – немецкий писатель.

[3] Немногие несчастные *(англ.)*.

[4] Адорно, Теодор (1903–1969) – немецкий философ, социолог, музыковед, представитель франкфуртской школы.

И важные вещи были и в самом деле важны, окутанные аурой протеста и аскезы.

Но все же, наслаждаясь тонко продуманным порядком перемен блюд, он мечтал о фрикадельках и яичнице-глазунье.

Теофил подошел к большому зеркалу в прихожей. Он машинально наклонил голову, как всегда делал перед зеркалом, пытаясь увидеть круглую лысину на затылке, напоминающую тонзуру. Не так уж и плохо, спереди об ее присутствии можно только догадываться. Теофил был высокого роста, с мягкими серыми глазами, которые он прятал за очками в роговой оправе, и нежным ртом, который с годами превратился в небольшой штрих, теряющийся в чертах лица. Как будто художник забыл раскрасить сделанный мимоходом набросок.

Его профессия позволяла культивировать в себе своеобразную смесь флегматизма и меланхолии. Теофил был редактором на радио, на одном из общественных каналов. Себя он с удовольствием называл осколком лучших времен, ведь он заполнял пусть крохотную, зато эксклюзивную нишу, ведя передачу глубоко за полночь. И, поскольку эта ниша образовывалась лишь раз в два месяца, он мог поддерживать свою репутацию эстета с минимальными затратами рабочего времени. Его у Теофила оставалось достаточно, чтобы копаться в прошлом, которое ему самому казалось героическим.

• После некоторых колебаний он направился к туалету, чтобы в уединении почитать газету. Бесприютное ожидание.

Штефани с удовлетворением захлопнула холодильник и пружинящим шагом направилась в свою спальню. Ну, все. Наконец-то покончено с этим кухонным рабством. В следующий раз надо нанять повара, все это детское тщеславие, игра в безупречную хозяйку.

Что же мне надеть? Платье для приемов? Или наоборот, что-нибудь простенькое? Она еще раз мысленно пробежала список гостей.

Ей вспомнился старый анекдот о том, как певица перед премьерой из-за кулис разглядывает публику, видит в первых рядах критиков и замечает: «Я слышала, что у нас все критики продажные, ну эти-то, судя по их виду, не могут стоить дорого».

Штефани ободряюще улыбнулась своему отражению. Она стояла перед зеркалом с балетным станком, занимавшим целую стену, и рассматривала себя. Джинджер Роджерс,[5] да-да-да. Белокурая мечта.

Она обесцвечивала волосы и укладывала их в девчоночьи локоны, как и несколько десятилетий подряд. Штефани всегда была загорелой. Это был тот желтовато-коричневый оттенок, в солидности не уступавший цвету качественных изделий из продубленной кожи. Штефани была дисциплинированной. Солнечные ванны входили в health-programme,[6] как она это называла. Она была на пару лет младше Теофила и изо всех сил старалась выглядеть моложе, чем он.

Она привычно встряхнула своими белокурыми локонами. Контраст со ставшим жестким лицом проявился значительно отчетливее, но она его не замечала. Еще меньше внимания обращал на это Теофил, который носил ее образ в себе и не удосуживался проверить, а соответствует ли еще он действительности.

Что касается ее деятельности в качестве критика, то тут он был более внимательным. Аромат цветения в девичьих мечтах, как однажды пошутил Теофил, превратился в источение желчи. Одно время она могла смеяться над этой шуткой. Штефани была знаменита тем, что уничтожала безжалостными, попадающими точно в цель насмешками спотыкающихся танцоров и шепелявых актрис. И всякий раз, когда она изливала свой яд на страницы рукописи, над верхними и под нижними веками углублялись странные горизонтальные складки,

---

[5] Американская актриса, во многих фильмах – партнерша Фреда Астера (1899–1987), американского танцовщика, актера, певца и хореографа

[6] Оздоровительная программа *(англ.)*.

угрожая со временем продолжить свое наступление на глаза и скрыть их за собой совсем. Смотровые щели, бойницы, амбразуры. Раньше у нее вообще не было кожи. Теперь – броня.

Штефани выбрала закрытое, отливающее серебром платье-футляр.

– Поднять занавес! – произнесла она без улыбки.

Боже мой, этот Себастьян Тин!

Он уселся на кушетку – мягкий укор в глазах показал, насколько она неудобна, – и сделал глоток шампанского. Голоса нерешительно смешивались в перестрелке, предваряющей основной бой.

– Точность, – неожиданно произнес Себастьян Тин, и чувствовалось, что за этим несколько бухгалтерским словом он видит целый космос невероятных утонченных смыслов, – точность – это главное.

Штефани посмотрела на него с материнской снисходительностью. Этот человек в самом деле запрятал глубоко в карман свое детство и хранил его там во влажной темноте. Сокровище, которое делало его и уязвимым, и сильным одновременно. В нем была какая-то цельность желаний, непререкаемая требовательность ребенка, у которого сложились болезненно четкие представления о страстно желаемой им вещи. И подобно ребенку, точно знающему, чего он хочет, он страдал, когда чувствовал, что в мире есть какая-то незавершенность, и приходил в упоение, если какое-то его чаяние осуществлялось.

По нему было видно, как он доволен, что на его жилете определенное число пуговиц и пуговицы именно те, которые, по его мнению, были единственно возможны, что крой пиджака является той смесью элегантности и небрежности, которая успокаивает его, уменьшает никогда не покидающее его чувство беззащитности, что воротник сшитой на заказ сорочки прижимается к его коже, как пеленка из хлопка к попке младенца.

Для него это были счастливые достоверности.

Сибилла Идштайн присела на кушетку рядом с ним, изо всех сил стараясь скрыть свое волнение. Себастьян Тин, Себастьян Тин, шептало все у нее внутри. Тогда он явился ей как бог, как повелитель книг, властитель царства, называемого общественным мнением, тот, которому она посылала свои тексты со смиренной просьбой об отзыве и с горячей надеждой на публикацию. Ответа она ни разу не получала.

И вот он просто сидит рядом.

Сибилла разглядывала его украдкой. Он оказался на удивление маленьким, уже начинал полнеть, что ему странным образом шло. Жилет собирался складками на животике, который он и не думал скрывать. В дорогом темно-сером костюме, с зачесанными назад каштановыми волосами и кокетливой бородкой-эспаньолкой, он выглядел ухоженным и аппетитным, словно метр какого-нибудь шикарного ресторана.

Только вот с глазами, думала Сибилла, с глазами его что-то не так. Карие глаза казались совершенно непрозрачными, орехово-карими. Непроницаемыми.

От него хорошо пахло. Сибилла наслаждалась этим мужским запахом, запахом лосьона для бритья и сигар, кожи, крахмальной сорочки. Ах, Себастьян Тин.

Часто его лицо принимало обиженное выражение, уголки рта опускались. На лице появлялся налет брезгливости и скуки, и вот тут, да, тут обычно раздавался этот его смех. Все ожидали его, и степенное течение беседы заранее содрогалось от экстатического беспамятства отчаянного приступа смеха. Лунно-невротические неудержимые спазмы, занимательные до грусти.

Сибилла Идштайн наслаждалась этим затишьем перед бурей больше всего. Она слышала о странных приступах Себастьяна Тина и теперь сгорала от любопытства, действительно ли сей превосходно владеющий собой господин способен безвольно отдаться приступу веселья, если, конечно, это можно назвать весельем. На ее тонком лице были заметны

следы усталости, но оттого, что Себастьян сидел рядом и в воздухе витал призрак его смеха, беседа с ним перешла в старомодное кокетство. Она ласкала Себастьяна диковинными иностранными словами, она ворковала, она пылала. Она вкрапляла в акварель своих фраз слова *clandestin*[7] и *mosanque*.[8]

Желание нравиться – высшая светская добродетель – оседало на лицах как роса.

– Мне нравится ваше воодушевление, от такого огня я и сам загораюсь! – воскликнул Себастьян Тин.

Сибилла и Себастьян наслаждались изысканностью определений, перебирая и любуясь ими, как примеривают эксцентрические шляпы. В их глазах светился радостный азарт, когда в руки попадал очередной мерцающий драгоценным блеском камень. Желание полакомиться влекло их в деликатесную лавку языка, где они пробовали, пережевывали и обсасывали слова со сладострастием, вызывавшим удивление, если знать о скудости их прочих удовольствий.

Штефани откинулась в кресле и с удовлетворением наблюдала за ними. Сибилла и Себастьян, вы только посмотрите. Разгоряченная после кухни, Штефани не слишком вслушивалась в их разговор. Ее мысли от живого зверинца перешли к зверинцу мертвому. Утки, рыба и ягненок.

Теофил устроился во втором кресле и пил шампанское. Слишком теплое, всегда слишком теплое. Он прикурил сигарету, задумчиво наблюдая за сценой напротив. Этот Себастьян Тин безнадежно претенциозен, но Сибилла нравилась ему. Невозможно поверить, что она купилась на этого болтуна.

Себастьян без околичностей перешел к своей любимой теме.

– Не кажется ли вам, – обратился он к Сибилле, – что мы только потому любим искусство, что жаждем чужих впечатлений, не из любопытства, а оттого, что для нас эти чувства и впечатления, воплощенные в художественном произведении, – драгоценные сосуды, в которые мы с благодарностью направляем тонкий, иногда даже скудный ручеек наших чувств? И там, в разукрашенных колбах, они больше не кажутся нам такими незначительными. Да, возможно, это что-то вроде подсознательной надежды, что сосуд сможет облагородить содержимое, неуловимый аромат красивой упаковки сможет перейти в пресную, безвкусную жидкость.

– Какая красивая и печальная мысль, – ответила Сибилла. – В ней блеск красоты и туманность печали.

Себастьян Тин благодарно взял ее руку и запечатлел на ней поцелуй.

Сибилла Идштайн положила ногу на ногу. Ее ресницы были слегка загнуты и под светло-зелеными глазами лежали темные тени, что придавало взгляду некую старомодную порочность. Рыжеватые волосы доходили до подбородка, были расчесаны на пробор, и при всей женственности этой прически в ней что-то было от нахального мальчишки, что-то дерзкое и непочтительное. Она откинулась на спинку дивана. Теофил заметил, что чулки она носит без пояса.

– И над чем вы сейчас работаете? – обратилась она к Себастьяну Тину.

Этот вопрос входил в набор банальностей как приветственная фраза.

– Все мое внимание сейчас посвящено delay,[9] – ответил он и уставился в лицо Сибиллы испытующим взглядом, стараясь угадать ее реакцию на это слово.

Себастьян Тин в своем издательстве «Литератур контор» выпускал книги, оформленные с таким вкусом, что от этого пиршества тошнило, как после переедания. Время от вре-

---

[7] Тайный, скрытый, потайной *(фр.)*.

[8] Мозаичный *(фр.)*.

[9] Отсрочка, задержка, приостановка, промедление *(англ.)*.

мени он сам писал эссе, раздувая их в целые книги, где его снобизм проявлялся во всем блеске. В своем последнем опусе он оплакивал уничтожение домашней обслуги, гувернеров и швейцаров, жизнь без них ему казалась банальной. Для всех оставалось загадкой, как ему удается печатать такое, хотя он и обладал солидными средствами, позволявшими ему удовлетворять свои капризы.

– Delay – как интересно, – помедлив, произнесла Сибилла с вежливой улыбкой, пытаясь выгадать время.

Что он имел в виду? Он ведь не печатает расписания европейских авиарейсов? Что еще из модных течений она упустила?

К счастью, раздался звонок.

Все невольно посмотрели на дверь. Секундой позже в комнату вплыл Герман Грюнберг, карманы его итальянского костюма были набиты пачками сигарет.

Теофил и Себастьян церемонно поднялись. Сибилла осталась сидеть, разглядывая вновь прибывшего гостя.

Герман Грюнберг сумел декоративно состариться, у него был отсутствующий взгляд и недовольный вид латиноамериканского мачо, в прошлом которого немало побед над женщинами. Его белые волосы были коротко подстрижены, птичье лицо покрыто светлой щетиной. Огромные черные очки делали его похожим на тайного агента. Темно-синий костюм Германа был безупречен. Он покупал свои костюмы в магазинах готового платья, но каждый раз отдавал портному, чтобы тот прорезал петли для пуговиц на рукавах, и ему нравилось, как бы увлекшись беседой, расстегивать и застегивать пуговицы, чтобы внимательный собеседник заметил это и понял – костюм сшит на заказ.

Его элегантность была прикрытием импульсивности, а безупречность манер граничила с лицемерием. Он обитал в экзотической стране среди книг и картин и обожал сплетни. У него водились деньги, что придавало его существованию романтический ореол. О происхождении его состояния постоянно судачили; болтали о наркотиках, а с недавних пор и о штази.[10] Он вел колонку в профильном издании «Культ», и знатоки искусства ценили его язвительные, сжатые до афоризмов искусствоведческие комментарии, которые со временем подарили ему немало именитых врагов.

Герман протянул руку за бокалом с шампанским, который подал ему Теофил, коротко кивнул присутствующим и поправил очки. Опытным взглядом он окинул картины на стенах, не выказав при этом ни малейшего интереса, и сказал Штефани что-то милое по поводу ее платья.

– Но, Герман, не будьте таким безжалостным! Как вы находите эти две новые картины? – спросила Штефани и взяла его под руку.

Герман Грюнберг подмигнул Сибилле Идштайн:

– Даже деньги часто не спасают от сумасбродства. Разрешите представиться, Герман Грюнберг, мученик искусства… – Он отвесил легкий поклон.

– Мы покупаем молодых художников, – пояснил Теофил без особой убежденности.

– Молодые художники – это что значит? – Грюнберг слегка поднял брови.

– А кто из молодых нравится вам? – спросила Сибилла.

– Диего Веласкес.[11] Очень хороший молодой художник.

– Мы сознательно ступаем на неверную почву современного искусства, – вмешалась Штефани. – Видите ли, мы считаем, что нужно иногда рискнуть, принять вызов, вдуматься в какую-нибудь непонятную картину, ведь искусство – это авантюра, искусство – это приключение, и коллекционер в конце концов не кто иной, как авантюрист, пират в море картин.

---

[10] Министерство государственной безопасности бывшей ГДР.

[11] Веласкес, Диего (1599–1660) – великий испанский живописец.

– Коллекционирование, милая Штефани, начинается только тогда, когда полотнами увешаны все стены, – с любезной улыбкой нанес встречный удар Герман.

Теофил тем временем демонстративно опустился в свое кресло. Он прав, этот Грюнберг. Черт возьми, нет ничего более тягостного, чем претензии на что-то, и Штефани не свободна от этого греха. Вся эта галерейная лирика, которую она тут развела – ужасна.

– Ах, Герман, всегда сарказм! Впрочем, это диптих, – сделала Штефани еще одну попытку, указывая на картины, – он называется «Стаккато линий в аккорде цвета»!

– Кошмарная метафора, – брюзгливо произнес Герман – Звучит как «обувная фабрика и обточка каблуков», если цитировать моего старого друга Гарри. – Ему тема явно казалась исчерпанной.

– И что это означает – мученик искусства? – заинтересованно спросила Сибилла.

– О, Сибилла, вы не читаете Германа? – воскликнула Штефани со смесью упрека и снисходительности. – Герман ведь *автор* всех изданий, имеющих отношение к искусству. И не в последнюю очередь потому, что он знает или знал всех великих художников нашего века. Герман просто – подлинный!

Молодец Штефани. Сибилла с подозрением посмотрела на Германа. Выглядит он довольно хорошо, моложавый, разве что немножко потасканный. Но подлинный?

– И как вам это удалось? Я имею в виду, как вы познакомились со всеми этими художниками? – спросила она.

Герман вздохнул. Казалось, ему не слишком хотелось рассказывать о себе столь неинформированной публике. Он взял сигарету, прикурил и выпустил три великолепных кольца дыма одинакового размера.

– Ах, все было так. Когда в пятидесятые годы я приехал в Париж из Южной Америки, выжить там можно было, только если посчастливится встретить зажиточных земляков на бульваре Сен-Мишель или еще где-нибудь. И они спрашивали, например: «Ты знаешь Макса Эрнста?[12]» И я отвечал: «Ну конечно, я знаю Макса Эрнста». Тогда они говорили: «Да это потрясающе! А может, ты хочешь есть? Или выпить? Разреши тебя угостить». Я отвечал: «Ну, если вы настаиваете, то я не против. Я покажу вам кафе, где постоянно бываю».

Герман глубоко затянулся и снова выпустил три колечка, одно поменьше, второе побольше и вновь поменьше.

– Завсегдатаем в том кафе был портье небольшого пансиона, где я жил, старик в берете, я сказал бы, француз в чистом виде, не хватало только длинного батона под мышкой. Он всегда там сидел по вечерам и пил красное вино. Я с ним здоровался, он отвечал, а я говорил своим знакомым: «Глядите, вот он сидит». – «Кто?» – «Он, Макс Эрнст!» Результат всегда был фантастический. «В самом деле? Это сенсация!!! Скажи, не мог бы ты взять у него автограф…» Разумеется, я мог. У меня в кармане всегда лежало несколько листков бумаги, на которых было аккуратно выведено «Макс Эрнст» или «Брак», «Пикассо» или «Писсарро».[13] И я подходил к бедному портье и подсовывал ему листок, он расписывался, я засовывал листок в карман и отдавал своим друзьям то, что они желали, в данном случае – «автограф» Макса Эрнста.

Герман потушил сигарету и взял еще одну.

– Однако представьте себе – на следующий вечер я с теми же людьми снова пришел в это кафе, и кто бы вы думали входит в дверь? *Макс Эрнст!*

– И? – спросила Сибилла.

– Ну, и мои знакомые спрашивают: «Скажи-ка, а это кто?» И я отвечаю: «А это – Брак!»

---

[12] Эрнст, Макс (1891–1976) – немецкий художник и скульптор, иного работавший во Франции, в 1922–1938 гг. входил в группу парижских художников-сюрреалистов.

[13] Брак, Жорж (1882–1963), Пикассо, Пабло (1881–1973), Писсарро, Камиль (1830–1903) – французские живописцы.

– Герман, вы бесподобны! – воскликнула Штефани среди всеобщего смеха.

Она гордо посмотрела вокруг. Вот, говорил ее взгляд, этот редкий экземпляр – *мой.* Герман отвел ее в сторону.

– От Хаусманна, надеюсь, я сегодня вечером избавлен? – спросил он с опаской.

Штефани что-то шепнула в ответ, это прозвучало как «виц».

– Что, Крессвиц тоже будет? – уточнил Герман тихо, но довольно внятно. – Кстати, мне говорили, что у нее молодой любовник. Кто-то их видел вместе, они ворковали. Крессвиц… А я-то думал, после того, как какой-то эпигон Ива Клейна сделал с нее чудовищную «антропометрию»,[14] Юккер[15] приколотил ее гвоздями к своей монохромной картине. – Он с заговорщицким видом обернулся к Сибилле Идштайн, которая сидела достаточно близко, чтобы все слышать. – Ужасно. Она то, что по-французски называют «bleu de coup».[16]

Сибилла Идштайн вежливо улыбнулась, не оценив его остроумия, и он добавил:

– Я убежден, что когда-нибудь нам придется держать ответ за каждую скрытую пошлость.

Он поставил бокал с шампанским на низкий травертиновый столик и попросил Штефани выйти с ним на минуту. Вскоре он появился со стаканом виски в руке.

– Кровообращение, – объяснил он.

Себастьян тут же воспользовался короткой паузой.

– Ах, милая Штефани, я вам уже говорил, что ваша рецензия на последнюю работу Мюллера-Лански удивительно точна?

Он поймал момент, когда можно было отвоевать территорию, занятую было Германом Грюнбергом.

– Честно, корректно. Так могут немногие, уважаемая Штефани, такое препарирование пьесы показывает, что король-то голый: обнаженный брандмауэр вместо декораций, неоновый свет вместо магического театрального освещения, актеры без действия, как рабочие сцены – только Шмилински, разумеется, опять хвалил, вероятно, из спортивных соображений, ведь ему непременно нужно выступить против вас…

– Ах да, Шмилински, наш плюшевый театральный мишка, – сказала Штефани со сладкой улыбкой, – он просто слишком много трудится. Недавно, например, сфотографировался для одного красочного издания, сначала с дочерью, а через пару недель с автомобилем. Ужасно неприлично, у этого журнала есть рубрика «Знаменитости и их автомобили», и все демонстрировали свои «БМВ» и «ауди», а он очень гордо стоял возле дряхлого «пассата»…

– Ничего удивительного, – ввернул Герман, – просто Шмилински остался верен своим принципам…

– Принципам? Какие у него могут быть принципы? – удивилась хозяйка дома.

Герман закурил сигарету.

– Он принципиально делает все, что ему предлагают!

Штефани засмеялась несколько громче остальных, так как ненавидела своего знаменитого коллегу за то, что тот слыл блестящим собеседником.

– Его любят, и в этом его беда. Ведь критика должны не любить, а уважать! – заявила она. – Что касается Мюллера-Лански, он растерял все, что имел. Сейчас все так статично, никакой психологии, никакого развития…

– Минуту, милая Штефани, я всерьез опасаюсь, что даже такая умная женщина, как вы, попалась на самый большой блеф нашего века!

Качая головой, Герман сделал глоток виски.

---

[14] Серия работ французского живописца Ива Клейна (1928–1962).

[15] Юккер, Гюнтер (род. 1930) – немецкий художник-авангардист, во многих своих работах использовавший гвозди.

[16] Bleu de coup – произношение этих французских слов совпадает с немецким ругательством «тупая корова», «дура».

Штефани резко обернулась. Вот с ее репутацией интеллектуалки лучше не шутить.

– Пардон, что вы имеете в виду?

– Распутная ересь этого венского сектанта[17] принесла несчастье в личной жизни огромному количеству людей, а в качестве критерия для искусства это надувательство просто абсурдно. Психология, развитие… кого вы хотите уложить на кушетку психоаналитика? Шекспира? Пруста? Набокова? Нет, нет, лучшее, что сегодня может предложить искусство, – усиленная резкость изображения, как на фото со вспышкой в известной мере, и без тетушкиных нравоучений об обращенных негодяях и жаждущих очищения нимфоманках.

– Но ведь жизнь – это развитие, – проговорила Сибилла, правда, не слишком убежденно.

– И в музыке – развитие, динамика… – вставил Теофил просто так, чтобы что-нибудь сказать. Он все больше ощущал себя статистом.

– Друзья, а как же красота? – вскричал Себастьян. – И чувство? Статика, динамика – какая разница, нас вдохновляют лишь чувство и фантазия, вранье и вымысел! Только искусная ложь способна вызвать у нас приятное чувство головокружения, которым нас милостиво одаряет искусство в лучшие свои моменты.

Он поднял свой бокал:

– Все, точка! За искусство!

Нет, только не сейчас. Регина фон Крессвиц остановилась в парадном дома. Она вынула зеркальце и стала рассматривать мускул под левым глазом, который дергался в своевольном, непредсказуемом ритме. Эта пульсирующая точка издевательски сводила на нет все усилия предыдущих часов: дерзкое перо в зачесанных наверх и заколотых темных волосах, драматические баклажанного цвета тени, серебристую пудру на скулах. Иногда она мечтала о маске, которую можно было бы просто натянуть на лицо. Вторая кожа, превосходная, сияющая, розовая, с легкой припухлостью у глаз, с выражением веселой отстраненности или проникновенным дыханием сердечного пыла – в зависимости от обстоятельств.

Ей достаточно этих двух лиц.

Ну ладно, ее лицо бесится, а ей нужно идти. Пора.

«There's no bizzz like showbizzz»,[18] – промурлыкала она в зеркальце, закрыла крышку и позвонила в дверь.

Она сразу заполнила собой пространство, и не только благодаря своим объемным формам. Это было что-то вроде мошеннического трюка, уличить в котором нельзя, хотя и понимаешь, что что-то здесь не так. Загадочный феномен присутствия. Она начинала доминировать через несколько мгновений в любом помещении, в любой квартире, в любой галерее. Она была подобна веществу с высокой способностью к диффузии, веществу, которое с бешеной скоростью распространяется в пространстве и по истечении многих часов еще висит в воздухе тяжелым запахом духов. Что удивительно, всегда было трудно сказать, в каком именно наряде она была. Даже Штефани, которая неизменно обращала внимание на такие вещи, стоило больших усилий вспомнить, в чем она была, потому что Регина фон Крессвиц всегда носила диковинные одеяния, развевающиеся и блестящие, приковывавшие всеобщее внимание.

Она бурно обняла хозяев, а затем поприветствовала остальных гостей точно в соответствии с их положением на иерархической лестнице. Герман сразу же подался назад. На его лице отразилось страдание, а поцелуй в щеку, который запечатлела Регина фон Крессвиц, похоже, вызвал у него явное желание немедленно воспользоваться душем.

---

[17] Имеется в виду Зигмунд Фрейд.

[18] «Нет никакого бизнеса, кроме шоу-бизнеса» *(искаж. англ.)*.

Регина, щедро укутанная в облако темных блестящих материй, без труда перешла на холодную интонацию непринужденного оживления, тот светский тон, которым она владела, как владеют местным диалектом.

– Long time no see, – мы не виделись ты-ся-чу лет, я все время хотела позвонить, но ведь ты знаешь, у меня сейчас этот дурацкий проект с Бобом в Лос-Анджелесе, затем был opening с Раушенбергом[19] в Париже, он был поразительно хорош, вы прекрасно выглядите, Герман, одним словом, audience[20] в старом добром Париже была благосклонна, аплодисменты и крики «браво», кстати, я там встретила одного молодого художника, – Герман скорчил гримасу, – вы просто *обязаны* с ним познакомиться, он делает очень занятные инсталляции, в общем, еще Петра говорила недавно, что она находит это жутко захватывающим, и сейчас я организую спонсоров для его каталога, synergeia,[21] я всегда говорю, synergie, да, спасибо, шампанское с удовольствием, спасибо, милочка, у вас здесь чудесно…

Теофил знал ее давно. Когда-то стоило этой женщине только войти в комнату, как воздух начинал гудеть. Сейчас все в ней было неживое, ненастоящее – деланная экзальтированность, заученность слов и жестов.

Все было так тягостно, что Теофил постарался уйти в тень. Слишком близко, слишком холодно, и его старый любимый твидовый пиджак ему слишком узок. Он вышел на кухню и, стараясь не спешить, полез в холодильник за новой бутылкой шампанского.

– Добрый вечер.

В кухню вошла Мария, домработница-португалка. Вот ее Теофил обнял бы с большим удовольствием. Она ему ближе, чем все эти люди в гостиной, с удивлением понял он. Роднее. И яснее. У них были вполне определенные отношения: она убирала и гладила белье, а он за это мог называть ее просто по имени.

Милая Мария. Ростом немного ниже его. Ее лицо с мягкой улыбкой не было накрашено, за исключением губ. Как малина и клубника, подумал Теофил. Диалог плодов.

Он радостно посмотрел на нее.

– Чудесно выглядите. – Ничего другого ему в голову не пришло.

А красота была, и в достаточном количестве. Ее хватало. Можешь не умничать, мы ведь уже женаты. Есть ли у Марии друг?

Она подошла и смахнула пылинку с его пиджака. Теофилу захотелось закрыть глаза и крикнуть: «Еще!»

Его тело сиротствовало. Неделями к нему не прикасался никто, за исключением сотрудников службы безопасности в аэропорту, ощупывавших его пищащими приборами. Он наслаждался этими привычными для них действиями, заранее расстегивал пиджак и поднимал руки. Деловитую грубоватость этого обыска он ценил особенно. Каждое прикосновение находило долгий отклик внутри его. Это были мимолетные мгновения близости, которые Теофил проживал счастливо, забывая об отвращении к своему перенасыщенному людьми и при этом одинокому существованию.

Такими были его тайные развлечения, о которых никто не подозревал.

– Вот, – сказала Мария. – Теперь можно идти.

Мария, Мария, Мария. Наверное, в «Марии» Ленни Бернстайн[22] имел в виду именно ее. У Кругов она работала всего два месяца.

---

[19] Раушенберг, Роберт (род. 1925) – американский художник.

[20] Публика *(фр.)*.

[21] Взаимодействие, сотрудничество, синергия *(греч.)*.

[22] Бернстайн, Лео (1918–1990) – американский композитор, автор мюзикла «Вестсайдская история», по которому был сделан фильм (1961), получивший премию «Оскар». «Мария» – песня из этого фильма.

«Она тоже часть моей жизни», – удовлетворенно подумал Теофил. Укрепившись духом, он вернулся в гостиную. Он вошел, неся бутылку и бокал для Регины. Прежде она казалась ему довольно симпатичной, и он, чуть волнуясь, искал под ложным блеском ее теперешнего облика следы былой красоты.

Она играла свою роль хорошо. Ну да. Но она не знала закона, который известен любому профессиональному актеру: короля сыграть нельзя, короля играет свита. Уважение и подобострастие других делают короля королем. Трагедия Регины состояла в том, что она была королевой без королевства, без двора и без подданных, в поведении которых могло бы отражаться ее величие.

С королевским достоинством она приняла бокал и покровительственно повернулась к Сибилле Идштайн.

– Скажите-ка, мы ведь с вами уже встречались, dio mio,[23] я позабыла где, не на открытии «Smart Art»? Да, да, теперь припоминаю. Как у вас дела?

Да, как же у меня дела? Как сажа бела, тушь потекла, сердце разбито, на чулке поползла петля. Все под контролем, хотелось ответить Сибилле, я справляюсь.

– Я точно не знаю, – произнесла она неуверенно.

Под левым глазом Регины билась жилка.

– Нас познакомили Хёхстмайеры, вы их тоже знаете, не правда ли, Теофил? – В поисках поддержки Регина посмотрела на хозяина дома. Не бросай меня, безмолвно взывала к нему она, скажи ей, что я знакома с людьми, которых вы тоже знаете, что поэтому она тоже должна хотеть со мной познакомиться.

Штефани поспешила вставить несколько слов:

– Хёхстмайер раньше был консультантом в «Улице Сезам», а сейчас он исповедует суфизм в Люнебургской пустоши.[24] Его жена долго жила в Индии, а затем набивала футболки для уличных шествий в Сан-Франциско.

– Ах, вот как.

Сибилла Идштайн провела рукой по серому костюму, сшитому на заказ. «Жиль Сандер»,[25] секонд-хэнд. Да, ей приходилось встречаться с такого рода людьми: искалеченные судьбы, разветвленные реки жизни. Да. И почему эти полные надежд жизненные русла заносит песком? Каким-то образом она умудрилась получить работу в театре, заведующей литературной и драматургической частью. Именно умудрилась. В детстве она думала, что задача завлита – вносить драматизм в скучные театральные пьесы. Позвольте, в том, что касается драм, я дока. И это не так уж неверно. Раньше она писала стихи, написанные «почти на краю безмолвия», как она часто говорила тогда с мукой в глазах. Теперь эти стихи превратились в тексты программок, которые забудут самое позднее за ужином после спектакля.

Она встречала Регину лишь мельком, и та ее так часто не замечала, что Сибилла решила отплатить ей той же монетой.

– А, да… Честное слово, я просто никак не могла вспомнить. Идштайн, Сибилла Идштайн. Вы не могли бы напомнить мне свое имя?

Регина не ответила, продемонстрировав ледяные осколки своей улыбки, и расстроенно направилась к Себастьяну, который с предупредительной любезностью поднялся с дивана.

– Мой милый Себастьян Тин! – воскликнула она.

– Госпожа фон Крессвиц!

Себастьян отчетливо произнес ее имя и торопливо склонился над жирной ручкой.

---

[23] Мой божественный *(ит.)*.

[24] Природный парк в Нижней Саксонии.

[25] Сандер, Жиль – известная в Германии женщина-дизайнер, автор многих коллекций женской и мужской одежды, обуви и духов.

Сибилла удивленно посмотрела на него. Боже, какая честь для этой околобогемной шлюхи. Тоже мне, райская птица.

Себастьян был в восторге. Правда, объектом его восхищения была не столько Регина, сколько ее имя. Себастьян был образован, богат, его уважали как автора, его домогались как издателя, но пределом его мечтаний все равно оставалось место в пышной кроне благородного генеалогического древа. Этой мечтой он питал и приумножал терзания своего самосознания – изъяны, которые он никогда не сможет устранить низкое, как ему казалось, рождение, отсутствие генеалогии, в которую он погружался бы с таким же удовольствием как в старое кожаное кресло, соответственное положение в обществе, на которое уж с полным правом могли бы распространяться флюиды, которые он ежедневно с таким трудом вновь и вновь производил на свет, подбирая тонкие ткани я благородные краски, определенные сочетания цвета ботинок, сорочки и жилета, изысканные жесты и тончайшие движения мимики, которые он подглядел в тихих дворянских поместьях и сумрачных родовых замках и впитал в себя – всегда рядом с бледными до прозрачности юными дамами, носившими знатные титулы с такой естественностью, что его начинало трясти, когда они в обществе произносили свое имя. Сам он свое голое, без всяких тешащих самолюбие приставок имя выдавливал из себя с деланной независимостью, часто слишком громко, так что выходил лишь жалобный звук, долгий и болезненный «Тиииииин», один-единственный позорный слог, который без заветного «фон», казалось, замерзал в пространстве. Хоть бы он был Тинхаузеном или Тинвицем, но его неосторожная мать отказалась от своей более или менее приличной девичьей фамилии Лаутерсбах, сменив ее на бесславную Тин.

В часы одиночества он частенько обдумывал вариант усыновления его каким-нибудь обедневшим поместным дворянчиком, что, правда, казалось ему слишком унизительным.

Он взволнованно погладил свою темную бородку.

– Милая госпожа фон Крессвиц, сударыня, как поживает ваш брат? – спросил он тоном столь подобострастным, что неискушенному наблюдателю это могло бы показаться чистой насмешкой.

Регина обрадованно улыбнулась и подчеркнуто неторопливо сделала глоток из своего уже почти пустого бокала.

– О, великолепно, великолепно, вы же знаете, он сейчас пробился в высшую лигу гильдии владельцев галерей и художественных собраний, и… – Произнося это, она отвела его на несколько шагов в сторону и продолжила приглушенным голосом, пытаясь придать своим словам таинственную значимость.

Штефани начала сомневаться в том, что удачно сделала выбор гостей. Экспериментировать надо всегда, и званый ужин – тот же лабораторный опыт с безобидными, казалось бы, химикатами, которые, однако, то и дело ведут себя непредсказуемо. То вскипают и исходят паром, то, еще хуже, вовсе не желают смешиваться.

Она оставила Сибиллу и Германа на попечение мужа и поспешила на кухню.

– Закуски, Мария, – коротко приказала она.

Она была очень тщеславна в выборе гостей, и поэтому в ее доме часто собирались вместе люди, не слишком хорошо знакомые друг с другом.

Чего ей только не пришлось пережить. Например, историю с театральным критиком, который дал от ворот поворот едва оперившемуся, ужасно талантливому молодому режиссеру да еще пожаловался на наглость провинциальных кривляк. Или визит модного артиста с поклонницами, рты которых были набиты жевательной резинкой, а пахло от них дешевой забегаловкой. Тот артист оскорбил политикессу от культуры своей угрюмой неразговорчивостью. Ох эти упрямцы. Строптивые и неблагодарные.

Регина и Сибилла – как кошка с собакой. Герман и Регина – не просто, но забавно, они будут театрально спорить об «искусстве», от этого слова меня уже тошнит. Регина и

Теофил – тут все о'кей, может, между ними что-нибудь было? Теофил никогда не отличался безупречным вкусом. Сибилла и Себастьян – очень, очень хорошо. Сибилла и Герман – тоже небезынтересно. Себастьян и Регина – о-ля-ля, о его пунктике на знатном происхождении я совсем забыла. Себастьян и Теофил – катастрофа, они всегда друг друга терпеть не могли. Спокойно, за столом все равно придется друг с другом разговаривать, хотят они того или нет.

Штефани мрачно улыбнулась. Развлекайся, Себастьян Тин. Сегодня я предложу тебе издать сборник моих критических статей. Труд мой жизни. Мое дитя.

– Дорогая. – Сзади неожиданно возникла Регина. Штефани обернулась. До чего же бестактно – вот так вторгаться в кухню. – Я ведь говорила тебе уже об этом молодом художнике, он и в самом деле очень молод, невероятно, он сейчас в городе, может быть, и заглянет. Ты ведь не имеешь ничего против, он и в самом деле очень талантлив, ты увидишь, charming boy,[26] его зовут Андре, говорю тебе, это что-то, ты будешь восхищена!

Нет, этого просто не может быть.

Штефани резко отвернулась и стала заправлять салат соусом. Салат-эндивий, рукола, кудрявый салат, помидоры «черри», какое нахальство.

– Ну конечно, конечно, душа моя, никаких проблем, – сказала она небрежно.

Если она что-то и ненавидела, то вот такие сюрпризы, когда составленный ею балет гостей вдруг начинал сбиваться с ритма.

– Чудно, – выдохнула Регина.

Еще один прибор, стулья сдвинуть. Инородное тело. Гадкий маленький паразит, который вползет сюда. Приколочена гвоздями к монохромной картине Юккера, неплохо.

– Не бери в голову. – Голос Штефани звучал подчеркнуто ровно.

Она обернулась, но Регина уже вновь исчезла. Штефани пробормотала что-то вроде «жирной улитки», однако взгляд брошенный на Марию, которая, казалось, безучастно стояла в углу, вернул ей самообладание.

Гости перешли к столу, накрытому очень богато, хотя Штефани и старалась не переборщить с роскошью. Белый лен, полотняные салфетки, белый фарфор, никаких цветов. Много серебра, подставки для ножей, солонка, обещавшие несколько перемен блюд столовые приборы, в том числе и десертные ложки, «маленькие пророки», как называл их отец Теофила.

Штефани рассадила гостей по своему плану, который она набросала загодя. Она терпеть не могла случайности, поэтому тщательно взвесила все комбинации, и в итоге схема выглядела так: она сидела с одного торца стола, Теофил – с другого. Справа от нее Себастьян Тин, рядом Сибилла. Слева от нее Герман, рядом Регина. Так она сама оказывалась в окружении двух мужчин, а Теофил мог ухаживать за двумя дамами.

Мария помогла хозяйке дома расставить тарелки. Штефани одолжила ей скромное черное платье, в котором та выглядела прямо как мадонна. Просто фигура из какого-нибудь фильма Сауры,[27] удовлетворенно отметила Штефани. Кроме того, строгий узел черных волос Марии отлично контрастировал с ее белокурыми локонами.

Утиные грудки были уже порезаны, розовые и теплые, они лежали возле салата и чуть ли не цвели. Мясной аромат смешивался с запахом духов и туалетной воды.

– Ах, сударыня, какой чудесный стол, он просто великолепен! – воскликнул Себастьян Тин и галантно послал хозяйке воздушный поцелуй.

Герман Грюнберг нервно крошил теплый хлеб. У него частенько не было аппетита, и он с нетерпением ожидал пауз между блюдами, когда можно было беспрепятственно курить.

– Приятного, приятнейшего, наиприятного аппетита, – обернулся он с саркастической улыбкой к Регине фон Крессвиц, которая ерзала на стуле, колыхаясь своими тучными фор-

[26] Прелестный мальчик *(англ.)*.

[27] Саура, Карлос (род. 1932) – испанский режиссер.

мами, и уже держала в руках прибор, словно избалованный ребенок, которому позволили забыть о правилах поведения за столом. В ответ она приняла невозмутимый светский вид, но скрыть, что у нее уже слюнки текут, не смогла.

Все ждали знака, позволившего бы приступить к еде. За столом возникла пауза.

Теофил поднял бокал.

– Дадим уткам поплавать, – отпустил он банальную остроту и поднес вино к губам.

Он ненавидел формальности. Штефани холодно на него посмотрела и поощрительно улыбнулась Сибилле. «Разогрей мне его, – думала она, – подай мне его в хорошем настроении, этого Себастьяна Тина». Она подняла свой бокал, приглашая Себастьяна чокнуться с ней.

– Прошу зрительного контакта, – хихикнул Себастьян и принял соответствующую ритуалу позу.

– Ваше здоровье! – выкрикнул он и выпил, в то время как Регина внесла свою лепту радостным «Santé».[28]

– Как все-таки хорошо, что мы снова собрались, мы так давно не виделись, – сказала Штефани.

На самом деле все было наоборот. Те, кто сидел за столом, вращались в одном кругу и встречали друг друга по нескольку раз на неделе: на вернисажах, премьерах, концертах, а также и по субботам, когда они, одетые со всей тщательностью, отправлялись в дорогие супермаркеты и магазины деликатесов за покупками и отчаянно кокетничали своей усталостью, намекая на светские рауты накануне.

Все они жили в том квартале, где устремлялись к небу сверкающие фасады в стиле модерн, а квартиры были похожи одна на другую, словно скопированы из одного модного каталога: белые стены, паркет и одна и та же комбинация английских столов, итальянских галогенных лампочек и мягких французских кушеток.

Прежде они наслаждались роскошью модерна с известной иронической дистанцией, однако декор начала прошлого века незаметно вновь превратился в кулисы сдержанного благополучного существования. Исчезли громоздкие кресла, штэковские плакаты[29] над унитазом, металлические таблички, свинченные в поездах и кафе во время первого путешествия во Францию. Остались только книжные полки, носившие американское имя «Билли», заполненные цветными корешками «Зуркампа»,[30] коллекцией левых политических изданий разных лет и тщательно подобранными шедеврами мировой эротической литературы от «Любовника леди Чаттерлей» до «Жозефины Мутценбахер».[31] Время от времени свою черно-белую улыбку демонстрировал рояль.

Фортепиано Теофила из гостиной было изгнано в его кабинет. Штефани этот инструмент в качестве «предмета мебели», как она выразилась, не слишком устраивал, а Теофилу было все равно, поскольку он никогда не играл для других, только для себя. Иногда он часами просиживал за этим терпеливым инструментом, с немым восторгом беря своенравные, смелые аккорды. Раньше, очень давно, он носил берет и играл в темных подвалах в компании с другими молодыми людьми с серьезными глазами, отдававшими вместе с ним свой долг золотому фонду джаза. «My funny Valentine». «All the things you are». «These foolish things».[32]

---

[28] Тост за здоровье *(фр.)*.

[29] Плакаты Клауса Штэка, известного немецкого художника.

[30] Крупное немецкое издательство.

[31] «Любовник леди Чаттерлей» – роман Д.Г. Лоуренса, «Жозефина Мутценбахер» – австрийский роман начала XX века.

[32] «Мой забавный Валентин», «Все, что ты есть», «Эти глупости» – очень известные джазовые композиции, исполнявшиеся многими певцами и музыкантами.

Теофил мечтал о том времени, когда он наконец останется один. Ну же, старик, подбадривал он себя, it's don't mean a thing if it ain't got no swing.[33] Больше всего ему хотелось пропеть *doo-dab-doouabb.* Но он лишь аккуратно разрезал мясо.

Теофил гордился кулинарным искусством жены и сейчас бросил на нее благодарный взгляд.

Штефани почти не ела, готовка отнимала у нее всякую радость от поглощения пищи, и втайне она мечтала о кофе и печенье.

Сибилла Идштайн поглощала угощение медленно и сосредоточенно, задумчиво вдыхала аромат масла, бесконечно мелкими движениями раскусывала кубики лука-шалот и долго держала на языке розовое мясо.

При этом она наблюдала за Германом, который клал в рот крохотные кусочки и то и дело со смиренным видом опускал на тарелку свой прибор, как бы желая сказать: ну вот, я ем, я очень стараюсь, но при всем желании больше не могу. Время от времени он делал глоток виски из своего стакана.

– Сплошное разочарование, – шепнул он Сибилле. – Виски нужно пить очень быстро, потому что на нем все время образуется пленка.

Себастьян Тин, сидевший напротив, беспрерывно болтал, что плохо сочеталось с едой.

– Delay! – воскликнул он. – Я как раз работаю над книгой об искусстве торможения. Очень увлекательный проект. М-м… – Он проглотил кое-как измельченную порцию и тут же положил в рот следующую. – Речь идет о том, – он сделал глоток вина, – что люди разучились ждать. Вот так. – Он промокнул губы салфеткой. – Потеряли способность испытывать божественную муку ожидания. Промедление… – Он разрезал кусок мяса, руки дрожали от усердия. – Сладкая боль ожидания.

Сибилла смотрела на узкий рот Себастьяна, блестевший жирным блеском. Что ты знаешь об ожидании.

– Инсценировки с предвкушением радости, – продолжил Себастьян, – вот о чем идет речь. Мы забыли, что delay как культурное достижение противопоставляется тривиальности потребностей. Серьезная игра с промедлением осуществления.

Он снова взялся за свой бокал и сделал приглашающий жест в сторону Регины, которая восхищенно ему внимала, хотя смысл его слов и оставался для нее темным.

Регина ела много и шумно, как и Себастьян норовила говорить с полным ртом, вытягивая губы, и выглядела при этом неотразимо чувственно, словно какая-нибудь кокотка феодальных времен.

– Я думаю, – сообщила она, жуя и жадно отпивая глоток вина, – что это фан-тас-тичес-кая идея, Себастьян, вы молодец, delay, в этом, разумеется, есть дух, spirit… правда – она снова схватилась за бокал, – сегодня мне вообще не приходится надеяться, что можно будет хватить через край. Никакого delay, dear! Sorry! Завтра, в конце концов, воскресенье.

– Я ненавижу воскресенья. – Герман Грюнберг отодвинул свою тарелку и откинулся на спинку стула. – Жирный дух жаркого, летаргия, магазины закрыты, просто ужасно.

– Воскресенье, светлый момент кульминации в спорном во всем остальном сценарии сотворения мира, есть не что иное, как продолжение субботы другими средствами, – ввернул Себастьян Тин и жеманно хихикнул.

Штефани подарила ему свою самую очаровательную улыбку.

Теофил мысленно застонал. У этого человека недержание, думал он, болтать – его потребность. Произносит слова только потому, что они красивы, а не потому, что хочет что-то сказать. Какой-то словесный понос. Он пренебрежительно скользнул по Себастьяну Тину взглядом и произнес, обернувшись к Сибилле:

---

[33] Здесь: поволочиться – не значит жениться *(искаж. англ.).*

– Всегда одно и то же. В мире слишком много сосисок и очень мало горчицы.

Черт бы тебя побрал, Теофил! Штефани бросила взгляд на Себастьяна, чтобы удостовериться, расслышал ли он это. Слава Богу, кажется, нет.

– Это из Хайнца Эрхардта?[34] – спросила Сибилла.

– Нет, из Эдди Константина.[35]

– Delay. – Штефани попыталась взять бразды правления в свои руки. – Как любопытно.

Герман склонился к Сибилле.

– Вы заметили, что раньше все время говорили «как интересно», когда речь шла об искусстве, а сейчас все больше говорят «любопытно».

Сибилла кивнула с озорным видом.

– Но люди искусства, – многозначительно шепнула она в ответ и скосила глаза, – по-прежнему говорят «интересно», например: «В этой инсталляции меня прежде всего интересовала дифференциация материальностей…»

Герман благодарно кивнул в ответ.

Все сидящие за столом были критиками, искусствоведами, промоутерами, одним словом, людьми, живущими за счет творчества других. Душок паразитизма в своей работе все они без исключения компенсировали постоянным презрением.

– Ну и кому теперь интересны инсталляции? – спросил Грюнберг с триумфаторским видом, и Сибилла хихикнула, как школьница.

Штефани все же решила не уступать:

– Delay – это напомнило мне об особенном временном пространстве театра. Взаимосвязь ожидания и переживания в нем в определенном смысле овеществлена. Я часто об этом писала. Вы же знаете, милый Себастьян, избыточность, повторение, замедленный темп, вспомните Вильсона, Марталера…[36]

Сибилла удивленно посмотрела на Штефани. К чему это все? Раньше она не слишком интересовалась теорией. Оценки в ее критических статьях всегда точны, но далеки от гениальности. О теоретической стороне дела можно было и не говорить. Пьесы Штефани всегда перечитывает заранее, ну пусть. Она всегда может точно сказать, что в спектакле является главным, ладно. Иногда она ходит на репетиции, чего не делают другие критики. И она может быть безжалостной, что тоже нормально. Но «взаимосвязь ожидания и переживания»?

Герман тоже посмотрел на Штефани с раздражением. Он всегда ценил в ней именно ее бесстрастность, деловую сдержанность и немногословность в работе с теми вещами, которым она себя посвятила. Этот тон был для него внове. Неужели все ради этого павлина Тина?

– О, милая Штефани, мне известно, что ваша критика – прекрасный пример того, как из презренной обыденщины культурной хроники можно сделать истинный образец эссеистики! – поклонился ей сидя Себастьян.

Ну вот. Штефани наслаждалась своей маленькой победой. Себастьян Тин увлекся. Но чем?

«Мной, моей работой», – думала Штефани. «Собственным кокетством», – думал Герман. «Собственным воодушевлением», – думала Сибилла.

---

[34] Эрхардт, Хайнц (1909–1979) – немецкий актер и юморист.

[35] Эдди, Константин – американский актер, снимался во многих фильмах, в том числе и у Ж.-Л. Годара, некоторое время был близок с Эдит Пиаф.

[36] Вильсон или Уилсон (Wilson) – есть два режиссера Вильсона – Жорж и Роберт. Оба известны, и какой именно имеется в виду, сказать трудно. Роберт считается королем «театрального минимализма»; Марталер (Marthaler) Кристоф – швейцарский режиссер, долго работавший в Германии, «enfant terrible», «ужасное дитя» европейского театра и одна из самых больших его надежд.

– Поразмышляем над анемичной, почти стерильной скукой всех тех произведений, которые желают что-то поведать о нашем безумном времени. Вы же, напротив, милая Штефани, углубляетесь в микрокосм, черпая в нем чистое золото познания. Не будем обманываться хрупкостью стрел ваших недвусмысленных формулировок, в их наконечниках таится яд кураре, неподкупный ум, что гораздо опаснее многоречивости профессиональных бахвалов, ежедневно докучающих нам своими творениями.

Наживка на крючке, подумала Штефани. Теперь главное не спешить.

Теофил с отвращением смотрел на альянс восхищения и удовлетворенного самолюбия, возникший на другом конце стола. Он наколол на вилку кусочек помидора. Диалог безумцев. Чем-то сейчас на кухне занимается Мария? Просто ждет? Или подслушивает?

За столом раздались первые звуки, свидетельствующие о приятном чувстве насыщения, – удовлетворенные вздохи, постанывания.

– А вы знаете, что кухня у Марчелло вновь великолепна, с тех пор как его бросила эта маленькая шлюшка? – спросила Регина, беря салфетку, чтобы вытереть с губ смесь орехового масла и губной помады. – Я была там недавно, oh my god,[37] любовная тоска фан-та-стично идет ему на пользу, его следовало бы запереть в монастырь до конца дней, специально для меня он приготовил «Скампи» с каперсами и лепестками брюквы, просто гениально, это стоит всех грехов мира.

– У Марчелло всегда хороши были «Карпаччо», но остальное… – Сибилла опустила большой палец вниз.

– У Марчелло, я не знаю, публика вполне обычная. Но я открыл новое заведение «Малавита»! – гордо сообщил Себастьян. – Блюда, которые там подают, – потрясающее наслаждение. А котлеты из перепелов, фаршированных трюфелями с проросшей чечевицей, – просто откровение, их повар неподражаем…

Штефани нетерпеливо вертела в руках нож. Она не выносила, когда у нее за столом начинали говорить о блюдах, приготовленных не ею. Всегда одно и то же, стоит гостям слегка перекусить, как они тут же начинают говорить о каких-нибудь ресторанах и хвастать так называемыми открытиями, нет чтоб проронить хоть слово о том, что только что лежало у них в тарелках.

– «Малавита»? – возмущенно переспросила Регина и положила салфетку рядом с тарелкой. – Себастьян, дорогой, вы знаете, как я ценю ваш вкус, вы настоящий гурман, но там часто сидит такая публика, non-people, эти гусыни в темно-синих костюмах, куда забавнее мне кажется «Нудлз», Джорджио волшебно экспериментирует, недавно он приготовил мусс из голубей в пергаментной бумаге, вот уж точно это было «Scotty, beam me up»![38]

– Уважаемая госпожа фон Крессвиц, вы даже не знаете, до чего мне не хочется вам возражать. Но иногда я спрашиваю себя, куда подевалась хорошая кухня со всеми этими чудесными блюдами, одни только названия которых уже становились приключением. Кто сейчас знает салат «Багатель»? Или соус «Бастард»? Гурманы-философы одиноки в нашем холодном мире, покинутые и обманутые, лишенные настоящих деликатесов.

– Салат «Багатель»? – весело переспросила Сибилла.

– Именно! Это так вкусно, там морковь, шампиньоны и спаржа с соусом из растительного масла и уксуса! – Себастьян опустил прибор. Пальцы его перебирали невидимые ингредиенты. – А соус «Бастард», который также называют sauce bbtarde! Это так называемый ложный сливочный соус – мучная подливка с белым перцем, яичным желтком и сливками, просто изумительно к белому мясу!

---

[37] О мой Бог *(англ.)*.

[38] Здесь: Скотти, приведи меня в восторг! *(англ.)*

– Ложный сливочный? – вставил Теофил. – Можно сразу переходить к фальшивому зайцу. Это по крайней мере честно. И вообще, эта так называемая высокая кухня скрывает больше, чем показывает. Все так искажается и деформируется, из куриной ножки выходит какой-то фарс с крылышком, бедная курица извращается до неузнаваемости, нет, нет, я, напротив, считаю, что нам нужен новый пуризм! Еще фоіее строгий, чем когда-либо предлагала cuisine nouvelle![39] Себастьян приподнял брови:

– Пуризм? Я бы попросил… Мы и так уже на самом краю пропасти упрощения. Кроме того, без высокой кухни мы не знали бы таких прекрасных блюд, как безе и меренги, amourettes[40] или помидоры «а-ля Регина», фаршированные ризотто и нежнейшим пармезаном!

– Согласна, Себастьян, это безумие! – одобрительно воскликнула Регина.

Сибилла Идштайн убрала со лба прядь рыжеватых волос. Затем немного отодвинулась от стола и спросила:

– Вы позволите мне закурить? – Она заслужила уничтожающий взгляд хозяйки и одобрительный кивок Германа Грюнберга, который как раз вытащил сигарету из пачки. С неподражаемой грацией и величием он вывернул руку и подал ей эту сигарету, в этом жесте нашла свое выражение вся небрежная щедрость, которая ему была присуща. Он заметил пораженный взгляд Сибиллы и со смехом сказал:

– Три года в школе брачных аферистов в Буэнос-Айресе не прошли даром.

При всей своей язвительности Герман Грюнберг обладал удивительной легкостью в общении, от которой дамы обычно теряли дар речи. Особенно если они привыкли к неуклюжим тяжеловозам-северянам, демонстрирующим с трудом усвоенные манеры, в чьих глазах, как в пустых суповых тарелках, отражается простота и наивное добродушие. Казалось даже, что эти мужчины вздыхали с облегчением, когда дамы брали на себя их обязанности в обществе. Герман Грюнберг напротив, без усилий скользил в аквариуме лиц и языков, жизнерадостный, с небольшими вкраплениями ехидства, удивляя представительниц прекрасного пола замысловатыми комплиментами.

– Окажите мне услугу, – шепнул он Сибилле заклинающим тоном. – Никогда не купайтесь в море.

– Почему? – спросила она удивленно.

– Оно вас погубит из зависти к чудесному цвету ваших глаз.

Сибилла улыбнулась и наклонилась к Герману поближе, он подносил ей горящую спичку.

Себастьян не без зависти отметил, с какой непринужденностью Грюнберг пустил в ход свое странное обаяние. Теперь и он, в свою очередь, склонился к Сибилле Идштайн.

– Как жаль, что вас вчера не было на приеме в издательстве, разве у вас не было приглашения, где же вы пропадали?

– В одном баре, название которого я ни за что вам не скажу, – ответила Сибилла с детским упрямством, но без всякого вызова.

– Так таинственно? – спросил Себастьян и еще ниже склонился к Сибилле.

– У каждой женщины есть своя тайна… – негромко произнесла Сибилла. Она явно наслаждалась интересом Себастьяна.

– Прием в издательстве… – быстро прошептал Герман в сторону Штефани, – болтают, что «Литератур контор» совсем захирело…

– Нет же, – тоже шепотом откликнулась Штефани, – все это дурацкие слухи, вчера там были все, у кого есть имя и вес!

---

[39] Новая кухня *(фр.)*.

[40] В кулинарии: спинной мозг барана или теленка *(фр.)*.

И гордо посмотрела на Себастьяна Тина. Этот человек был для нее символом власти, культуры, хорошего общества. Она невольно улыбнулась. И *вот* этот человек сидит за ее столом.

В это время Регина с возрастающим раздражением наблюдала за тем, как Себастьян обхаживает соседку. Сибилла Идштайн, Боже мой. Кажется, она вообразила себя бог знает чем… Посмотрим, посмотрим.

– Восхитительно, Штефани, где ты достала эти утиные грудки? – Регина фон Крессвиц поднялась со стула, притягивая к себе взгляды. – Наверное, под столом у вас спрятан маленький повар-француз? – лукаво добавила она и широким движением набросила свою необъятных размеров шелковую шаль на спинку стула.

Штефани проследила за ней тренированным взглядом, заключив, что она слишком театральна. Но едва ли нашелся бы кто-нибудь, кто сказал бы это Регине в глаза. Штефани вспомнила, как вчера дама-режиссер на репетиции в опере поучала певицу, которой нужно было стянуть с гроба черную ткань: «Не надо никакой хореографии, сделай это резким движением!» Это была роль леди Макбет, но от певицы шел пар, она была здоровая и откормленная, как дойная корова, и поэтому никак не могла прочувствовать эротизм власти.

Движения Регины являли собой чистую хореографию. И эротику… н-да… Сама Штефани принадлежала к числу тех женщин, которые усердно терзали свое тело до тех пор, пока оно не приближалось к лишенному всякой индивидуальности идеалу и не становилось абсолютно непригодным для употребления: тощим, мускулистым и твердым. И, как все эти женщины, она презирала своих пышных соплеменниц, ее оскорблял вид такого количества плоти, бесстыдно выставленного на всеобщее обозрение, возможно, и потому, что знала, как эта плоть без всякого стеснения ублажает себя за столом или в другом месте.

Регина фон Крессвиц. Боже мой. А теперь еще и этот молодой художник. Невозможно, чтобы она притащила своего любовничка сюда.

Эротический опыт Штефани был довольно обширен, но не очень убедителен. С ее худобой и спортивным телосложением она с трудом попадала в сети плотских утех, которые могли бы ей подарить душевное успокоение и чувственный обман слишком трезвого сознания. Кроме того, чаще всего ей попадались умные и стеснительные мужчины, которым даже в высшей точке наслаждения было слегка неловко за свое поведение. То, что Штефани называла «актом», все время плавно переходило в интеллектуальные беседы, с помощью которых незадачливые экскурсанты в опасный мир удовольствий пытались вновь обрести твердую почву достойного человека существования. Торопливость таких «актов» приносила Штефани так же мало удовольствия, как и неискренность сопровождающих это действо ласк, и однажды она оставила все надежды на то, что ночь любви может подарить ей то упоение и удовлетворение, которого она хотела.

Вместо этого она начала закалять свое тело. Растяжки, аэробика, гантели. Она наслаждалась физической усталостью после тяжелых тренировок и отдавалась наконец в приятно умелые руки массажистки, которая раз в неделю размягчала это тощее, маленькое, жесткое тело, ненадолго выдавливая из Штефани оловянного солдатика, из женщины, которая, находясь под мужчиной, непроизвольно напрягала ягодицы.

– Штефани не нужен повар-француз, она достаточно умна и талантлива, чтобы хорошо готовить самой, – галантно заметил Герман. – Сегодня это нечто особенное. Однажды я тоже был женат, что, впрочем, как известно, плохо закончилось. Как бы то ни было, мой адвокат всегда говорит: раньше жены умели готовить, как матери, сейчас жены умеют пить, как отцы.

Сибилла бросила быстрый взгляд на Себастьяна. Его ореховые глаза расширились, грудь заколыхалась в почти астматическом дыхании, и разразилась буря – хохот и судорожное заглатывание воздуха, заразительный вой демонстративного веселья, смех, напряжен-

ность которого не позволяла считать его комичным, но тем не менее увлекавший присутствующих за собой.

– Превосходно, – выдавил Себастьян со слезами. – Превосходно… – И все началось сначала.

Регина достала из вместительного кожаного мешка, заменявшего ей дамскую сумочку, веер и шутливо стукнула им Германа, который испуганно отшатнулся.

– Мачо, мачо! – воскликнула она с деланным негодованием.

Боже мой, Регина. В привычной ей роли критика Штефани чувствовала себя уверенно. Безопасно. Как бы она хотела шепнуть Себастьяну на ушко маленькую профессиональную пакость о Регине. Но Себастьян все еще содрогался в конвульсиях своего смеха, этакий безумный maotre de plaisir.[41] К тому же он скорее всего слишком ослеплен тремя буквами приставки и куда менее благозвучной фамилией Регины, чтобы оценить эту колкость.

Жаль. Штефани нравилось быть критиком. Она любила работу, которая позволяла обходиться с людьми с известной фривольностью. Это могли себе позволить театральные режиссеры, режиссеры монтажа в кино и критики. Не обходилось тут и без своего рода садистского удовольствия наблюдать, с какой готовностью другие покорялись этой власти.

Что заставляет людей следовать чужой воле? Штефани попомнила репетицию в театре, исполнителя, певшего Макдуфа. В джинсах, кряжистый и энергичный, тот походил на рабочего со стройки. Его заставляли петь, сидя на чемодане, скрючившись в неудобном положении, словно на унитазе. «Нет, нет, не скрещивай ноги, ты выглядишь как дамский угодник». Дама-режиссер была неприступна. И певец покорно сидел на чемодане, взрослый мужчина с роскошным голосом и умоляющими глазами, с бутафорским мечом в руках, коренастый, добротный.

[41] Маэстро наслаждений *(фр.)*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.